

рение: *И скошенным солнцем раскинулись длинные травы, / И тень, как Овидий, бредет по колючей стерне, / И море далеко, но дух океанской приправы, / Как соль, проступает на красной кирпичной стене. // И зреют леса, где скрывается Гиперборея, / И свечи не гаснут, но пламя, сорвавшись, парит. / И только могучие сосны стоят, не старея, / И море далеко, но шум его в кронах царит.* Казалось бы, начальное «и» можно повторять и повторять еще и в других стихах, но поэт скуп на свои находки.

В телефонном разговоре 31 декабря 2018 года кандидат филологических наук Янис Манукян поведал мне, чем, на его взгляд, современная поэзия, поэзия последних лет отличается от предшествующей, предыдущей. Это было сказано по поводу «Дня поэзии-2017». Поэзия отказывается от постмодернизма и идет к неоромантизму, у нее меняется парадигма, играет иная территория памяти. Даже у молодых авторов маловато любви в стихах (на такое «отсутствие любви» я тоже обратила внимание). И в этом плане, добавим, поэзия как мелкая моторика мысли будто бы опережает прозу. Наш разговор совпал с моментом подготовки этой рецензии. Поэтика Владимира Пучкова сложна, но поэт, скорее, неоромантик, ему чуждо обращение к другим текстам, аллюзии прочитанного, услышанного, но отказ от этого не означает легкости освоения того, что вокруг, что, как оказывается, до сих пор никем не освоено.

Что же мы предприняли? Выписали из сборника то, что особенно нам понравилось, что запало в память. *Легкая тайна, стремительная, как рысь, / Ходит за нами и пьет из наших следов!; А слово — из других оно глубин, / Древнее мира и трудней искусства!; ...и знает стрелок, что мимо / Пуля не пролетит. Но, выбирая цель, / Ты выбираешь сам сопротивление мира.*

Сборник получился. Он называется «Косточка мира». Косточка, в которой будущее, но которую трудно расколоть. *Это — цепкая моя злость, / Это — жизнь, которой учусь!*

Вера ХАРЧЕНКО

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭДИПУ

Кругосветов Саша. Клетка. М.: Интернациональный Союз писателей, 2018. — 368 с. (Серия «Золотые пески Болгарии»).

Внимательное прочтение неудачно, на мой взгляд, изданной и оформленной книги (я имею в виду техническую сторону и с болью обращаюсь к издательству: ну, нельзя, нельзя, друзья мои, художественную литературу заворачивать в *низкопробную* «детективную» обложку да еще и потчевать нас таким мелким шрифтом! Это полиграфическое преступление, которое — по опыту знаю — сразу отторгнет от текста половину читателей, что не может не вызвать моего сожаления), так вот, внимательное прочтение «Клетки» — процесс длительный и, сразу оговорюсь, нелегкий. Короче, «Клетка» — не для любителя провести вечерок-другой в соседстве с торшером для отвлечения от унылостей будничной жизни. Вот почему не сомневаюсь — любители приятной «вечерней литературы» отложат ее уже на пятой-шестой странице и к ней уже более не вернуться: у почитателей историй в стиле Донцовой есть на это все основания. И правда, зачем задумываться над подобным текстом и портить себе настроение? А настроение ведь действительно будет испорчено!

Ибо кругосветовская «Клетка» (хотел ли этого автор или нет) создана для далеко идущих и весьма грустных выводов.

По большому счету любой, даже самый толстый роман можно пересказать в двух-трех фразах. Рискну подобное сделать, чтобы ввести заинтересовавшихся вступление

«литературных мазохистов», то есть тех чрезвычайно симпатичных мне оригиналов, которые готовы часами размышлять «над каждой строчкой», в курс дела.

Итак, суть «Клетки» в следующем: живет в довольно бесцветную и относительно безопасную «эпоху позднего социализма» некий гражданин Борис Кулагин. И живет он довольно неплохо: служит в обыкновенном советском НПО, которых по стране были раскиданы тысячи, ест, пьет, справляет естественные надобности, не помышляет ни о каком диссидентстве, ни о каком, пусть даже самом крошечном протесте. Вершина его мечтаний: заполучить на ночь красотку студенточку, с которой у героя складываются вполне прозаические отношения под девизом: «Я тебе постель — ты мне деньги». И существует ветреный Кулагин так непринужденно и весело, пока однажды утром за ним не приходят два незнакомца из «соответствующих органов», которые с порога объявляют розовощекому, полному сил и мечтаний молодому человеку о том, что он находится под следствием, и тут же его арестовывают — без всяких ордеров и излишних объяснений. Вытаскивая этого устроившегося в жизни обывателя из теплой уютной постели, в которой только что побывала долгожданная красавица, незваные гости втягивают неудачника в непонятную судебную тяжбу. Внезапно начавшись, странная тяжба все никак не может закончиться. Пребывая в подобной фантазмагории не день и не два, а целую вечность, бродя по лабиринтам судебных коридоров, попадая в мир унылых комнат и переходов, Кулагин начинает понимать только одно: скорее всего, он виновен. А вот в чем, так и не может разобраться! Нет, его не бьют по лицу; не привязывают к стулу, не отбивают ему молотком пальцы. Обходятся с ним относительно вежливо, но это не меняет сути. После нескольких выматывающих душу походов в соответствующие учреждения даже герою становится очевидно: он пожаловал в СИСТЕМУ — непонятную простому смертному организацию, действующую по своим собственным законам и не собирающуюся выпускать того, кого ей удалось заглотить. По ее логике Кулагин виновен — и точка. И понятно, что выпутаться невозможно. Более того, даже желание несчастного парня от отчаяния взять на себя свою несуществующую вину (где вы, 30-е годы!) и признаться в том, что он не совершал, завершив тем самым бесполезное мытарство по комнатам, залам и кабинетам, ни к чему не приводит. С ужасом герой начинает осознавать (проницательный читатель, конечно же, догадывается об этом гораздо раньше): следствие идет ради самого следствия. Таким образом, Кулагин попадает в безнадежную ситуацию: его сжимают тиски дурной *бесконечности*, той самой *бесконечности*, по сравнению с которой даже длительный срок, более того, «высшая мера» кажутся выходом, о котором несчастному приходится только мечтать! В конце концов попавший в жернова СИСТЕМЫ Кулагин приходит к совершенно естественной, правильной (и почти библейской) мысли о том, что любого из живущих двуногих можно покарать, ибо виновны все: не в том, так в другом. «Так накажите же, наконец, меня!» — взывает обвиняемый — и напрасно, надо сказать, взывает. Оказывается, он нужен судьям совершенно для иных целей: закрадывается стойкое подозрение — мотается Кулагин по коридорам-комнатам именно для того, чтобы судьи *бесконечным* судом над ним могли оправдывать собственное существование. По тому же самому поводу Кулагин просто необходим адвокатам. Без него не могут существовать дознаватели. СИСТЕМА нуждается в нем как в самом важном своем винтике, без которого невозможно ее бытие — вот почему никогда не позволит, чтобы он вывинтился, перестал в ней существовать. Но то, что спасительно для СИСТЕМЫ, губительно для самого «винтика»! И вот здесь-то мы подходим к существу дела, ибо неизбежно возникает чрезвычайно важный вопрос: а каким таким образом все складывается так, что ни в чем не виновный хомо сапиенс ни с того ни сего попадает в механизм, обеспечивая СИСТЕМЕ, в свою очередь, бесконечное движение? С какого такого перепугу невинный становится виновным? Какая такая сила хватает несчастного за шиворот

и влечет по всем этим бесконечным комнатам? Осмелюсь предположить: этот, как я уже сказал, *чрезвычайно важный вопрос*, почему подобное происходит с человеком, далеким от финансовых махинаций, злых замыслов и диссидентской деятельности на десятки световых лет, есть вопрос, обращенный к одной из самых основных проблем человеческого бытия. Так что будут весьма наивными те читатели, которые, прочитав «Клетку», поспешат списать все на «проклятый тоталитаризм», и не менее проклятый «коммунизм». Будут не менее наивными те, кто увидит в книге лишь очередной памфлет против существующей ныне в России власти. Увы, все гораздо сложнее! Неудобная для почитателей западного либерализма (равно как и для отечественных почвенников) правда в том, что подобная «Клетке» СИСТЕМА есть вообще порождение человеческого существования. Она присуща человечеству со времен «оно». Она стоит над всяческими «измами», более того, использует их как завесу, как некое прикрытие, оставаясь неизменной в своей сути — иначе не было бы Кафки, который о сталинизме не имел никакого понятия хотя бы потому, что просто не дожил до злополучного «тридцать седьмого года».

Кстати, о Кафке! «Так это же „Процесс“!» — воскликнет проникательный читатель-«мазохист», вникнув в перипетии кругосветовой книги — и будет не совсем прав. Вопрос о СИСТЕМЕ — прежде всего вопрос о постучавшейся в двери СУДЬБЕ (а попадание в жернова СИСТЕМЫ есть не что иное, как ее, СУДЬБЫ, бетховенский стук в дверь). И вопрос этот был поставлен задолго до существования гениального австрийца. Древние греки называли проблему внезапных и трагичных изменений человеческой жизни РОКОМ. Вот почему в литературе (и философии) появился «Царь Эдип». И Шекспир, и Кафка, и многие другие пересказыватели древней трагедии (обратился к ней и Саша Кругосветов) лишь отталкивались от первоисточника, возраст которого насчитывает уже несколько тысяч лет. А ведь проблема, так ужасавшая Софокла, по-прежнему неразрешима. Согласитесь, страшно, когда вас в один далеко не счастливый день вытаскивают из постели, волокут на допрос к дознавателю и втягивают в череду совершенно диких, нелепых, бессмысленных событий. И тот, кто воскликнет, что подобного в нашей с вами жизни быть не может, обитает не иначе как на Луне. Остальные знают: очень даже может быть! В принципе СИСТЕМА и есть СУДЬБА. Над каждым свободнорожденным может ни с того ни с сего начаться ЕЕ «Процесс». В любую минуту каждый вольно и беззаботно живущий индивид имеет вполне реальный шанс из уютной и пригретой кровати шагнуть в «Клетку», ибо все мы — заложники СИСТЕМЫ-СУДЬБЫ. Некий судья может внезапно занести над нами молоток вне зависимости от того, проживаем ли мы в сумрачном Петербурге или в солнечном Палермо, на обломках ли социализма или в устоявшемся и освященном временем европейском капиталистическом быте. Для РОКА нет разницы, какой строй на дворе: пусть даже самый что ни на есть демократический. СУДЬБЕ ровным счетом наплевать, кто перед ним — царь или советский служащий Борис Илларионович Кулагин. Тем-то «Клетка» лично мне и интересна! В кругосветовском романе есть слабые, проходные места, есть откровенное подражание Кафке (которого, впрочем, автор и не скрывает, зная: вся литература по большому счету есть подражание), но одного, самого важного, самого главного для искусства качества у него все-таки не отнимешь: я имею в виду поднятую тему, тему мировую, тему просто запредельную по своей сложности. Надо заметить, не каждый литератор осмелится возвратиться к Эдипу: многие предпочтут мелкотемье — с него-то, мелкотемья, зубоскальства над сегодняшней российской реальностью и взятки гладки! Но Кругосветов рискнул — и вернулся. Роман «Клетка» вопиет об ужасающей реальности, которая в любую минуту может обрушиться даже на самого обласканного богами счастливец, представая на его пороге либо в виде смертельной болезни, либо в виде подобных гостей «без ордера». Каково, когда смысл оборо-

чивается полной бессмысленностью, порядок — хаосом, справедливость — полным попранием всяких нравственных устоев? А ведь такое бывает сплошь и рядом: царь Эдип, равно как и кафкианский «Процесс», никуда с Земли не собираются исчезать, и во мне бродит смутное подозрение, что вряд ли они исчезнут и в будущем.

Увы, подробный разбор «Клетки» выходит за рамки этого краткого отзыва, а в романе, поверьте, найдется много любопытного и для читателя, и для профессионального критика. Тот, кто не поленится не только прочитать «Клетку» (что, как я уже говорил, само по себе довольно серьезное занятие: роман Кругосветова не для любителей Насти Каменской или Виолы Таракановой), не только над ней поразмышлять, но и подвергнуть ее литературному анализу, конечно же, найдет там массу недостатков, не совсем оправданных длиннот, слишком прямых аллюзий: взять хотя бы «Великого инквизитора» Достоевского и уже упомянутого Кафку. Но надо вновь отдать должное дерзости автора: Кругосветов все-таки не побоялся ни Кафки, ни Достоевского и представил свою версию «Эдипа—Процесса». Можно за это Кругосветова хвалить. Можно ругать. Но уже то, что литератор (удачно или неудачно — судить читателю) вновь напомнил нам о существовании *настоящей истинной СИСТЕМЫ-СУДЬБЫ*, которую многие апологеты глобального мира или сторонники альтернативного развития человечества стараются не замечать, но которая по-прежнему то здесь, то там будет напоминать о себе, неожиданно вытаскивая их из теплых кроватей, безжалостно перетряхивая, словно пыльное одеяло, их, казалось бы, навсегда устоявшуюся жизнь, достойно самого внимательного к роману отношения. Что греха таить, не так уж и много в свернувшей на мировую обочину, сдавшей прежние свои позиции современной российской словесности литераторов, осмеливающихся вновь вытаскивать на свет Божий навсегда закрепленные за тем же Шекспиром и Кафкой поистине мировые вопросы и заведомо знающих: они будут за подобную дерзость подвергнуты жесткой, если не жестокой критике. Но с другой стороны, почему бы не попытаться потягаться с самим Софоклом и еще раз пробить в тот же самый набат? Ведь гости на пороге вашей квартиры способны возникнуть в любое мгновение — и что вы будете делать, когда услышите следующее: *«Вы арестованы...А у арестованного нет никаких прав. Никаких гражданских прав. Поэтому спрашивать наши документы, ордер на арест и прочее вы тоже не имеете права. Здесь все зависит только от нас. Пройдите в спальню и ждите, пока решается ваша судьба»?*

Илья БОЯШОВ

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Эмилия Кундышева. Петербургский рассказ. СПб.: Союз писателей СПб.; Петрополис, 2018. — 104 с.

Как журналист Эмилия Кундышева в постоянном круговороте событий: престижные презентации, выставки, встречи с людьми состоявшимися и теми, кто оказался на самом дне. Первая часть книги, «Петербургский визит», посвящена современному «светскому» Петербургу. Но предвещает ее «погружение на глубину в сто лет» — воспоминания старой дамы о своем детстве в дореволюционном Петербурге. Ее семья владела доходным домом на Коломенской улице, занимала двенадцать комнат на втором этаже. Престарелая дама многое помнит: приемы гостей, как одевались взрослые,